

Максим Осипов Люксембург

*и другие
русские
истории*

CoRPvS



Максим Осипов

**«Люксембург» и другие
русские истории**

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Осипов М.

«Люксембург» и другие русские истории / М. Осипов —
«Издательство АСТ», 2020

ISBN 978-5-17-132905-1

Максим Осипов – лауреат нескольких литературных премий, его сочинения переведены на девятнадцать языков. «Люксембург и другие русские истории» – наиболее полный из когда-либо публиковавшихся сборников его повестей, рассказов и очерков. Впервые собранные все вместе, произведения Осипова рисуют живую картину тех перемен, которые произошли за последнее десятилетие и с российским обществом, и с самим автором.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-132905-1

© Осипов М., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

Свента	6
Москва–Петрозаводск	12
Маленький лорд Фаунтлерой	22
Цыганка	30
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Максим Осипов
«Люксембург» и другие русские истории

© М. Осипов, 2020

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2020

© ООО «Издательство Аст», 2020

Издательство CORPUS ®

Свента *путевой очерк*

Памяти родителей

Внуково – самый маленький, самый камерный аэропорт из московских, и когда прилетаешь в него, да еще в субботу в одиннадцать вечера, столпотворения не ждешь. Отметки в паспорте, чемодан, всё быстро:

– Откуда?

– Из Вильнюса.

– Что везем?

Ничего особенного: книжки, сыр. Нормы ввоза продуктов тобой не нарушены – проходи. Но именно тут, на выходе, тебя ожидает сюрприз: мужчины, плотной толпой. Столько народу может встречать, например, самолет из Тбилиси, но нет, не похожи они на грузин. Нету и приставаний – «Такси, такси в город, недорого», как-то странно тихо, несмотря на толпу. Протискиваешься через нее, а она не редет, люди не расступаются, но и не мешают нарочно – стоят. Крепкие мужики средних лет, безбородые, в темных пальто и куртках, они как будто не видят тебя. Не огрызнутся, не сделают замечания, если колесами чемодана проехать им по ногам. Кажется, можно щипать их, колоть – не сдвинутся. Непонятная, темная сила из сна: кто они, куда собрались – в паломничество, на хадж? Сейчас выясним: где тут охрана, полиция?

Пробравшись к стеклянной двери, обнаруживаешь, что она заперта, – там, на улице, тоже толпа, но другая, более пестрая, разнополая. Караулит дверь полицейский, в руке у него какой-то сосуд – как же поздно ты все понимаешь! – да ведь это лампада: вечер Великой субботы, люди замерли в ожидании, скоро благодатный огонь прилетит.

– Спецрейсом, из Тель-Авива. Ждем борт.

«Рак зэ хасэр лану» – только этого нам не хватало – весь известный тебе иврит.

Через час или два приземлится борт, начальство под телекамеры раздаст мужичкам огонь, и они лампадами повезут его по Москве, Подмоскovie и в соседние области. Тогда уж и всех остальных пустят внутрь. Легко найти репортаж: люди едут во Внуково отовсюду – «Приезжаем шестой уже год», «Верим в народ, в страну».

Ничего, ничего, без паники. Полицейский делает знак:

– Третья дверь на выход работает.

Надо снова проталкиваться, волоча чемодан за собой. Так завершается поездка в Литву.

* * *

– Какие эмоции вызывает у вас это место? – спрашивает по-английски девушка-корреспондент зарасайской газеты. Она единственная из пришедших на встречу с тобой и Томасом, переводчиком и издателем, не понимает по-русски.

– Для меня Зарасай – не место даже, а время. – Чтоб не искать слова: – Paradise lost, потерянный рай.

Девушка настораживается: товарищ скучает по СССР? – О, нет! Лишь по тем временам, когда были живы родители.

– Вы, что же, впервые в свободной Литве?

В свободной – впервые. Хорошо не чувствовать себя оккупантом. Пробежался по Вильнюсу, все понравилось, но тянуло сюда. Смотришь по сторонам: новая библиотека у озера (весь город на берегу), кафе начала семидесятых, с колоннами, неработающее (там давали комплекс-

ные обеды), костел. Памятника вооруженной девушке (Мельникайте) словно и не было. И природа, как обычно в таких городках, привлекательней построенного людьми.

– Почему было не приехать раньше?

Ответить нечего, только плечами пожать. Отец отсюда писал, почти сорок уже лет назад: «Здесь тихо и бесконфликтно. И в доме, и в городе, где сейчас мало людей, и, наверное, потому со мной вежливы даже на почте. И сам порой себя чувствуешь не занюханым москвичом с перегруженной совестью, и мир видишь иначе – ощущаешь его пронзительность».

А вот и собственная твоя дневниковая запись пятнадцатилетней давности: «Хочу в Зарасай, где провел столько времени – каждое лето, подряд столько лет. И все-таки еду туда и сюда, куда положено ездить, куда стыдно не съездить, только не в Зарасай. Это и означает – жить не своей жизнью».

Тут ветрено, чисто – почвы песчаные, да и местные жители склонны поддерживать чистоту. Пустынно.

– Просторно, – улыбается девушка-корреспондент.

Да. Вы прощаетесь:

– Приезжайте летом, с компанией.

Неплохо бы. Но из тех, с кем вы ездили в Зарасай, один – в Сан-Франциско, другой – в Амстердаме, с кем-то пришлось рассориться, а несколько человек, включая родителей и сестру, умерли. И ты отправляешься на полуостров, он находится в двух километрах, с южной стороны озера, дорогу ты помнишь – ни навигатор, ни провожатые не нужны.

* * *

«Здесь дом стоял...» – двухэтажный, каменный. И следа не осталось, снесли. После смерти хозяев (о которой ты знал) дети делили наследство, дом продали, а покупателям он не пришелся по вкусу, и его уничтожили, со всеми пристройками, сровняли с землей. Хотели сделать что-то свое, но, видно, деньги закончились. Так расскажут соседи, они даже помнят немного вашу семью.

Странно, дом-то был крепкий. С огромным балконом, на него выносили обеденный стол. «Так вот с кем мы дело имеем...» – сказала мама без выражения, – гость ваш, сосед, похожий на Сергея Рахманинова, тоже москвич, сообщил за чаем, что он парторг своего института. Мама была молчалива, особенно в сравнении с отцом, но могла произнести и что-то такое, неудобное, в сторону. Она здесь бывала только в июле и августе, а отец – во всякое время. Летом жил наверху, а зимой – тут приблизительно, где теперь стоишь ты. «И вот сейчас выпархивает птица / Сквозь пустоту тогдашнего окна...»

Стихи стихами – исчезновение дома вызывает растерянность: камни, как выясняется, тоже недолговечны. Печально, хотя, разумеется, есть вещи и пострашней, да и ты не Набоков, не Пруст. Походи между сосен по мягкому мху, подойди к воде. Ни высокие старые сосны, ни худенькие деревца возле берега, ни заросли камышей никуда не девались – вот они, тут как тут.

Такое воспоминание: семьдесят восьмой год, август, – тебе, значит, скоро пятнадцать. С Харитошей, дружком на всю жизнь, одноклассником, вы спустили на воду яхту «Дельфин», гэдэровскую, клееную-переклеенную (тогда было принято вещи чинить), два шверта по бокам – препятствуют дрейфу, дают курсовую устойчивость. Вы отплываете в путешествие по Зарасайскому озеру – ты на стакселе, Харитоша на гроте и на руле. Крутой бейдевинд – готовься откренивать! «Мамаша – до свиданья, подруга – до свиданья, / Иду я моряком в Балтийский флот». Но у вас оторвался шверт, и вы никак не можете вывести лодку из бухты, волны относят вас к берегу. Вяло, по очереди вы пробуете грести. Отец наблюдает с мостков: он уже несколько раз влезал в холодную воду, выталкивал вас из зарослей. Стоп. У Харитоши идея: «Неплохо бы

раздобыть эпоксидки. Шверт присобачить, черт бы его...» – «Ах, эпоксидки!..» Стоя по пояс в воде, отец произносит длинную речь. «Засранцы» – самое теплое слово, которое он подобрал.

Эпоксидка становится именем нарицательным для неуместных идей, а лодку свою ты увидишь – на киноленте, когда начнешь разбирать архив. Начало шестидесятых, к «Дельфину» прицеплен мотор, мачта убрана, отец на корме, мама на водных лыжах катается по Оке. После смерти отца ты стал импульсивен, деятелен, пришло теперь время принять на себя и другие обязанности: вставлять фотографии в рамки, приводить в порядок архив.

После того что случилось с домом, к исчезновению баньки ты совершенно готов – она была ветхая, деревянная. Мылись в субботу, а в пятницу носили из озера воду, заготавливали дрова. «Хорошо поработали», – говорил ты десятилетним мальчиком Йозасу, высокому худому хозяину с огромными, очень сильными, черными от работы руками, тебе хотелось к нему подольститься. «Да, дали просрать», – отвечал он мечтательно. Йозас курил сигареты без фильтра: запах горелой спички и прочее – если захочешь, то вспомнятся и банные приключения, но опять же это путевые заметки, не фильм «Амаркорд».

Итак, ни дома, ни баньки, и даже мостки заменили на нечто безвкусно-фундаментальное. Не застревай тут, на полуострове, бери с собой Томаса и поезжайте на Свенту, но перед этим – в лес.

* * *

Женщина-библиотекарь нарисовала план: шоссе на Дягучай, поворот на Дусетос, потом, после второй автобусной остановки высматривайте указатель. «Место гибели восьми тысяч евреев, расстрелянных немецкими фашистами 26 августа 1941 года». Слово «евреи» на обелиске казалось невозможной смелостью, во времена твоей юности это слово употреблялось только в особых случаях – не советскими же гражданами было их называть. Слева и справа – ров, поросший травой, двести тысяч литовских евреев лежат в таких рвах.

Десоветизация коснулась и памятника: русскую надпись убрали. Правильно ли? – решать не тебе, ты бы ее сохранил. Теперь тут две надписи – идиш с литовским. «На этом месте нацистские убийцы и их пособники зверски убили восемь тысяч евреев – детей, женщин и мужчин. Священна память невинных жертв» – идиш. В литовском варианте к пособникам добавлено уточнение – «из местных».

Были и те, кто спасал. И кто сначала расстреливал, а позже спасал, и даже наоборот – в это трудно поверить, однако бывало и так.

Порядок поддерживается образцовый: ограда, аккуратный бордюр, на обелиске Звезда Давида, на постаменте свечи, флаги Израиля, камушки, кто-то принес небольшой самодельный крест. Этого прежде не было.

– Терпеть, оплакивать, – говорит Томас, – удел литовцев.

Все знают здесь анекдот про то, что последней женой непременно должна быть литовка: будет кому за могилкой смотреть. Нет, это не «женщины сырой земле родные», напротив – поиски бытового выхода из любой, самой страшной, жизненной ситуации.

По дороге в гостиницу вспоминается невысокий мрачный старик лет шестидесяти, «из местных», с почерневшим от пьянства лицом, слесарь или электрик, ездил на мотоцикле с коляской, сколько-то лет отсидел: «Поляков – к стенке. Русских – к стенке. Жидов... – он поднимал глаза на отца, – жидов через одного».

Теперь бы это с рук ему не сошло, а тогда, хоть и без умиления, терпели: ведь оккупанты. Žydai – другого слова в литовском нет. Старик этот тоже смотрел на себя как на жертву, со всех возможных сторон. Радио «Свободная Европа» вплоть до середины пятидесятых передавало им, лесным братьям, утешительные сообщения: держитесь, ребята, осталось немного, скоро опять мировая война.

* * *

На Свенту в прежние времена выезжали на целый день – с пледами и едой, с книжками, с кружками для черники, корзинами для грибов, с волейбольным мячом, и машина была такой, что через дыры в полу виднелся асфальт, и коробка передач была, разумеется, механической. Как же вы подняли на смех маму, когда она, позже уже, с наступлением свободы, приехала из Америки и сообщила, что машины теперь не имеют педали сцепления – такого не может быть! – и она согласилась: вам лучше знать. И как бы хотелось теперь поделиться с отцом простой радостью – от совершенства автомобиля, пусть и взятого напрокат. Дорогу можно не спрашивать – ее указывает навигатор. Он предлагает Свентское озеро, Sventes ezers, – то, что надо. У тебя самого на обложке «Maksimas» написано.

Это что же, граница? Разве Свента находится в Латвии? Конечно, вы ведь ездили в Даугавпилс, когда зачем-нибудь нужен был настоящий город. Там Ленин возле вокзала в шапке-ушанке стоял в любую жару, и большая тюрьма. ЛитССР, ЛатССР – границы носили характер не слишком серьезный. А вот и дорога знакомая, с гравием, тут ты учился водить. И лес – большой, неухоженный. Все знакомо: дорога и лес.

Туристов, видимо, мало, и нет запрета на то, чтоб подъехать к воде. Многолюдно на Сvente и не было – одна из причин любить ее, – раньше, однако, здесь был заповедник: никаких костров и машин. А все остальное по-старому: вот он – песочек, вот плоскодонка с черным, блестящим, жирно просмоленным дном, а вот и мостки, подгнившие, тебе так не хватало мостков. Пробираешь по ним походить и оказываешься по щиколотку в воде. Сушишь ноги, оглядываешься.

«Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек? / Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек». Не отсюда ли, прячась за теми деревьями, ты оглашал окрестности ревом трубы? «Поэма экстаза», «Гибель богов» – этот рев ты считал музицированием. «Неритмично, зато фальшиво». – Друг-пианист, тот, что теперь в Амстердаме, уговорил оставить трубу, перейти на флейту – тихий, чувственный инструмент, – полюбить ее не удалось. Ощущение счастья все равно как-то связывается с трубой.

О тайнах счастья. Последнее написанное отцом письмо заканчивается так: «Собрались вместе – говорим или молчим, и нет уже чувства того, что жизнь состоялась или не состоялась. Иногда я думаю: может быть, мы как раз счастливы?» Пытаешься рассказать Томасу о родителях, но как сообщить тайну личности? – это даже сложнее, чем переводить стихи.

«Нас могут ждать всякие потрясения. Каждого человека они могут ждать, нас тем более. Надо действовать так, чтобы мы их меньше боялись», – отец, например, хорошо помнил, как в какой-то момент (дело врачей и вокруг) он не мог найти самой простой работы, как почти что с надеждой ждал депортации на Дальний Восток: лишь бы всем вместе, лишь бы рядом были свои. Письма его носили характер скорей назидательный, он спешил тебе что-то важное сообщить, а для мамы это был способ продлить молчание. «День провела, как в поезде: просыпалась, засыпала и ничего не делала... А болтаю я просто так, нельзя же молчать в письме».

Некоторое время постоять еще у воды, выкурить сигаретку, повспоминать о чем-то необщем, съесть мандарин. Мертвовато тут, тихо – кладбищенской тишиной.

И лишь вернувшись в гостиницу и изучив обычную карту, бумажную, ты поймешь, что ошибся. Свентес, Швянтас, Швянтойи, Святое озеро и Святая река – названия эти встречаются и по ту, и по эту сторону от латвийской границы. Озеро Швянтас – вот что вы звали Свентой, вот куда ты хотел попасть. Как же ты так обозначился, обдернулся? Разница в птичке, гачеке: Šventas ežeras, ехать на юг, на Турмантас, ни в какую ни в Латвию.

Томас скажет:

– А вы все узнали, Максим: и дорогу, и озеро.

Да, узнал.

* * *

По пути в Вильнюс вы сравниваете впечатления. Для Томаса кульминацией вашей поездки стал грохот грузовиков по булыжнику возле костела, ветер и град, а ты и внимания не обратил. Странно с этими воспоминаниями: бывает, послушаешь целый концерт, а всего-то потом и вспомнишь, что на дирижере носки были красные.

Аисты и холмы, и много воды, небо напоминает голландское, но пейзаж выразительней – из-за холмов. Как бы жилось тебе тут? Да, провинция, но не провинциально, не чересчур. Просто такая страна в Восточной Европе – во многих отношениях только завидовать. Все здесь наладится потихоньку, если не будет воздействий извне.

«Когда я была столпом общества...» – одна немолодая твоя приятельница с этого любит начать свою речь. Может, вправду была. И в Литве есть любители вспомнить о временах, когда Великое княжество простиралось до Черного моря (главным образом, за счет удачных женитьб), но здесь из бывшего величия не извлекают практических выводов.

«Вы просто всего не знаете», – слышал такое и в Париже, и в Риме от антиевропейски настроенных русских людей. Только и разговоров: там-то и там нас не любят. – Друзья мои, больше всего нас не любят дома, в Москве.

«Надо действовать так, чтоб мы меньше боялись...» Тогда тебе не было двадцати, теперь уже больше пятидесяти. Говоришь Томасу:

– Поразительным образом все вернулось. Мои заботы тридцати-с-лишним-летней давности были ровно теми же, что сейчас: 1) не замараться, не испаскудиться, 2) не сесть и 3) не пропустить момент, когда будет пора уезжать насовсем. И надежда прежняя, призрачная: вот проснемся однажды, а весь этот морок закончился.

Обстоятельства вынуждают, однако, не спать, поглядывать в разные стороны, крутить головой. Остроумный приятель твой скажет: у князя Андрея Курбского были похожие настроения. – Для Курбского и закончилось все Литвой.

* * *

«Выходи к помойке», – пишет на телефон Bóris, друг Боречка, большой музыкант, скрипач, недавно он перебрался сюда из Лондона. Мужественно сражается с литовскими суффиксами – žmogus, žmonija, žmogiškštis, žmogiškusmas (человек, человечество и т. д.), – хотя в Литве, говорят, вполне можно обойтись английским и русским. Кстати, птички над буквами, гачеки, изобрел Ян Гус.

Боречке хочется, чтобы город тебе понравился, он тебя водит туда и сюда, извиняется за всякие некрасивости, вроде той же помойки, подумаешь! Жизнь не богатая, но и не нищая, а главное – запретов, ограничений, шлагбаумов и другого мучительства меньше, чем ты привык за последние годы в Москве. Вильнюс хорош: чисто, но не прилизано. Там, где тебя поселили, – поместь Серпухова с Парижем, а старый город – очень особенный, ни на какой другой не похож.

– Всюду масса проблем, – улыбается хозяин артистического кафе.

Опытный человек, он успел пожить и в Израиле, и в Америке, чуть ли даже не в Иордании, и знает, о чем говорит. А ждет ли он, например, что спецслужбы (кто знает, как они называются?) отождут у него кафе, и спасибо, если в тюрьму не посадят? И никакая Amnesty International ухом не поведет. Он искренне удивлен: нет, ничего подобного ждать не приходится, какое все-таки счастье, что распался Советский Союз! Ты тоже мечтал об этом, еще до всякой Литвы, еще когда восьмилетним мальчиком читал Диккенса, «Пиквикский клуб». И знал, что есть такой город Лондон, в книгах, на картах, но увидеть его – не мечтай, сынок.

– Видно, что автор мало знаком с теорией прозы Виктора Шкловского, – произносит один из слушателей, негромко, однако отчетливо. Здоровенный литовец, работает в Вильнюсской обсерватории. Трудно не быть высокомерным, если работаешь в обсерватории.

Разговоры, чтения – по-русски. Для кого тогда, спрашивается, было книжку переводить? Ответ известен: для автора. – Поэтому кто у нас пойдет в магазин? – Это, правда, тебе было сказано совсем в другом месте, хотя и по сходному поводу.

Ужупис, район свободных художников, с шуточной конституцией и правительством (Томас в нем занимает немалый пост) – здесь ты прочтешь свой рассказ «Фантазия»:

«– Хьюстон... – произносит Ада задумчиво. – Мы, Андрюш, в Вильнюсе квартиркой обзавелись... – Вильнюс, рассуждают они, от всего не спасет. Впрочем, с израильским паспортом... – Ого, у них и израильский паспорт есть?» – и слушатели заулыбаются, и в конце подойдет москвич, твоих приблизительно лет, выпускник физматшколы и доктор наук, – окажется, что квартирка, в которую тебя поместили, – его, он только что не помашет у тебя перед носом лессе-пасе, израильским паспортом, но у него он есть. Значит, рифма найдена, число в ответе получилось целое, не какая-нибудь иррациональная галиматья.

– Приезжайте почаще, а то и давайте уже насовсем. Поверьте, тут есть что любить.

И дружеские враки будут, и бокал вина – не один. «Вы просто всего не знаете», – тут никто ничего подобного не говорил. В последний день пребывания в Вильнюсе начинаешь встречать знакомых на улице. Вильнюс способен отвлечь и развлечь – ровно настолько, насколько надо. «Разве мне может быть грустно, оттого что тебе хорошо?» Разделить чувство радости – для этого человеку идеально подходят родители. Всё, займи свое место и стань пассажиром, сядь ровно, ремень пристегни.

* * *

Мечты отпадают одна за другой – некоторые оттого, что сбылись, но в основном за ненужностью. Отцу хотелось, чтоб ты стал доктором медицинских наук, – зачем? Или: присмотришь было красивое кладбище над Окой, на другой стороне, условишься обо всем с женщиной, которая им заведует, но вдруг это станет совсем ни к чему – тихое, уютное кладбище есть и здесь, под рукой, на твоём берегу.

Там есть что любить, – это точно. И тут тоже есть, еще как! – только б найти просвет между темными, твердыми дядьками, заслонившими выход, выбраться на простор. Но о дядьках все уже сказано. Вспомни тех, кого любишь – хотя бы священника, который всех твоих родственников хоронил. «Аристократизм и простота, в нем есть лучшее, что есть в русских людях». Об этом и думай, на воду смотри, вспоминай Литву.

Сильно за полночь ты окажешься дома. Останется выйти в сеть и вместе с родными прочесть из первой главы Иоанна, с начала и по семнадцатый стих – на славянском, английском, немецком, русском. Такая у тебя будет Пасха в этом году.

апрель 2017 г.

Москва–Петрозаводск

рассказ

Внимай, Иов, слушай меня, молчи.
Иов 33:31

Избавить человека от ближнего – разве не в этом назначение прогресса? И какое дело мне до радостей и бедствий человеческих? – Правильно, никакого. Так почему же, скажите, хотя бы в дороге нельзя побыть одному?

Спросили: кто едет в Петрозаводск? Конференция, с международным участием. Доктора, кто-нибудь должен. Знаем мы эти конференции: пара эмигрантов – все их участие. Малая выпивка, гостиница, лекция, выпивка большая – и домой. После лекции – еще вопросы задают, а за спиной у тебя мужички крепкие, с красными лицами, на часы показывают – пора. Мужички – профессора местные, они теперь все в провинции профессора, как на американском Юге: если белый мужчина – то судья или полковник.

Итак, кто едет в Петрозаводск? Я и вызвался: Ладожское озеро, то да се. – Не Ладожское, Онежское. – Какая разница? Вы были в Петрозаводске? И я не был.

* * *

Вокзал – место страшненькое, принимаю вид заправского путешественника, это защитит. Как бы скучая иду к вагону, чтобы сразу видно было – я к вокзалам привык, грабить меня смысла нет.

Поезд Москва–Петрозаводск: четырнадцать с половиной часов ехать, между прочим. Попутчики – почти всегда источник неприятностей: пиво, вобла, коньячки «Багратион», «Кутузов», откровенность, затем агрессия.

Тронулись, все неплохо, пока один.

– Билетики приготовили.

– Девушка, как бы нам договориться?... Я, видите ли... Ну, в общем, чтоб я один ехал?

Оглядела меня:

– Зависит, чем будете заниматься.

Да чем я могу заниматься?

– Книжечку почитаю.

– Если книжечку, то пятьсот.

Вдруг – двое. Чуть не опоздали. Два нижних. Сидят, дышат. Эх, чтоб вам! Не задалась поездочка. Досадно. Устраивайтесь, не буду мешать, – я наверх полез, отвернулся, они внизу возятся.

Первый – простой, примитивный. Голова, руки, ботинки – все большое, грубое, рот приоткрыт – дебил. Потный дебил. Телефон достал и играет. Треньк-треньк – в ознаменование успехов, если проиграл – б-л-л-л-лум, молнию свободной рукой теребит – тоже шум, носом шмыгает. Но вроде трезвый.

Второй, из-под меня, брезгливо:

– Куртку снимите, урод. – Раздражительный. – Не чвякай.

Тяжело. Колеса стучат. Внизу: треньк-треньк. Какая тут книжечка? Неужели так всю дорогу будет?

Вышел в коридор. В соседнем купе разговаривают:

– Россия относится к странам продолговатым, – произносит приятный молодой мужской голос, – в отличие от, скажем, США или Германии, стран круглого типа. В обеих странах я, заметим, подолгу жил. – Девушка радостно охает. – Россия, – продолжает голос, – похожа на головастика. Ездят по ней только с востока на запад и с запада на восток, исключая тело головастика, относительно густонаселенное, в нем можно перемещаться с севера на юг и с юга на север.

Это – слева от моей двери, а справа – пьют. Курицу рвут, помидоры руками ломают, чокаются мужики, гогочут.

Вернулся к себе. Господи, как медленно идет время, только из Москвы выехали.

Еще полчаса, еще час. Скоро Тверь. Дебил тренькает. Второй ожил.

– Звук выключи.

– То-оль, эта...

Толя, стало быть. Высокий, метр девяносто, наверное, пальцы длинные, белые, с круглыми ногтями. Лицо – ничего особенного. Губы тонкие. Лица словно нет. Не знаю, как объяснить. Что-то мне не понравилось в Толе. Импульсов от него не поступало, вот что. *Anaesthesia dolorosa* – болезненная потеря чувств. Проводишь рукой и не понимаешь – гладкого касаешься или шершавого. Не очень я придираюсь? Трезвый, учтивый, старается не мешать.

– Газеты, газетки берем, свежая пресса.

Мерси. Знаем мы ваши газетки: теннисистка разделась перед журналистами, трагедия в семье телеведущей, у миллиардера украли дочь. Секреты плоского живота. Криминальная хроника. Покойники в цвете. Тьфу. Толя, однако, газетку взял, пошуршал ею снизу. Через некоторое время – дебилу:

– Пошли.

Немножко один побыл. Да уж, поездочка.

Перед всеобщим отходом ко сну произошло еще несколько малозначительных событий.

Во-первых, из соседнего купе – оттуда, где пили, – забрел пьяный. В руках он держал фотоаппарат. Пьяный открыл дверь, изготовился фотографировать, Толя дернулся ему навстречу и тут же отвернулся, спрятал лицо. Ага, гэбэшник. Чекист. Теперь ясно.

Пьяный потянул меня к себе, я как раз собрался зубы чистить. Щелкнуть их надо с друзьями. Щелкнул. Всё? Нет, не всё. Я должен выслушать историю его жизни. Почти падает на меня: водка, пот, курево – на, дыши. Расстояние должно быть между людьми. Как в Америке.

Мама ему в свое время сто рублей подарила на фотоаппарат, а потом – денег не было – забрала. А он с детства любил фотографировать. Вот ведь, а?! Сочувствую. Я пошел.

– Стоять! – он мне стих прочитает, козырный.

– Извини, – говорю, – прихватило. Я вернусь. – Еле вырвался.

– Па-а-а... тундре, па-а железной дороге! – заорал он, раскидывая для объятия руки – всем, кто не сумеет увернуться.

У меня еще не худшие соседи, как выясняется. Подумаешь, гэбэшник. Молчит и не пахнет. И дистанцию держит: тоже, как я, брезгует.

Во-вторых, оказалось, что воспользоваться ближним сортиром не выйдет: кто-то доверху забил унитаз газетами. Намокшие цветные картинки – зачем?

В-третьих, вода для чая оказалась чуть теплой, возможно, некипяченой.

– С-с-совок, – проговорил Толя.

Нет, не гэбэшник.

Общий свет гаснет, попробовать спать. Что их двоих связывает? Ничего хорошего. Не родственники, не сотрудники. Может, гомики? Кто его знает. И какое мне дело? Может, гомики. Среди простых людей это чаще встречается, чем многие думают.

Те же звуки: тук-тук, шмыг-шмыг. Жалость к себе. Я уснул.

* * *

Я уснул и спал неожиданно крепко и долго, а когда проснулся, то ждали меня раннее солнце, снег и очень сильный мороз за окном, судя по состоянию елок.

Не глядя на попутчиков, я вышел из купе. Поезд встал. «Сныть», кажется, не разобрал надписи. Во время стоянок пользоваться туалетами... Подождем. Эх, еще пара часов – и вождь-ленный Петрозаводск, гостиница, теплая вода, обед с вином. На душе у меня было теперь много лучше. Что я, в самом деле, такой нежный!

Соседи мои были полностью укомплектованы: Толя, видно, вообще не ложился. Он сидел у окна, возбужденно крутил головой:

– Что, что такое? Почему стоим?

– «Сныть», кажется, – сказал я. – Станция «Сныть».

– Что? Серый, где мы?

– Полчаса стоянка. «Свирь». – Серый производил теперь куда лучшее впечатление. Никаких детских игр, никакого шмыганья.

Серый ушел, поезд тронулся. Я кое-как умылся, выпил горячего чаю и еще больше повеселел. Хотелось жить: завтракать, балагурить, сплетничать про московскую профессуру, нравиться молоденьким женщинам-докторам. Мы не опаздываем? Прошелся, узнал. Вроде нет.

Ой, а что случилось с соседом моим? Теперь, один, при свете дня, Толя производил очень жалкое впечатление.

– Анатолий, вам плохо?

– Что? – Он повернулся ко мне.

Боже мой, весь дрожит! Я такое наблюдал много раз: к концу первых суток госпитализации больной начинает дрожать, чертей отгоняет, а то и в окно прыгнет – белая горячка! Вот как просто. Толя-то, оказывается, алкоголик.

– Девушка, – кричу, – девушка! У пассажира белая горячка, понимаете? Алкогольный делирий. Аптечка есть? – Нет никакой аптечки. Правда, совок! Ничего себе – к начальнику поезда! Да где искать его? – Винца ему дайте, я заплачу, он же вам все разнесет!

– Успокойтесь, пассажир, – говорит проводница. – Дружок его где?

– Да он еще в этой, Сви́ри, Сви́ри, не знаю, как правильно, вышел.

– Куда он там вышел? Билет до Петрозаводска! – Раскричалась. – Сортир засрал своими газетами! Всю пачку взял! Туалетной бумаги мало?

При чем тут сортир? Пассажиру плохо. От нее помощь требуется, а не истерика. Он там уже, небось, головой об стены бьется. Все, поздно, прорвало:

– Сейчас разберемся с вашим купе, мужчина! Снимем вообще с поезда! – Убежала куда-то. Черт, страшно в купе заходить. Стою возле двери, жду.

Станция «Пяж Сельга». Милиционер идет. Да, этот разберется. Я, кандидат медицинских наук, не разобрался, а он разберется. У товарища Дзержинского чутье на правду.

– Так, документики приготовили.

На мои он едва взглянул. А с Толей произошла ужасная вещь: он забрался на столик и принялся колотить башмаком в окно. Не с первого раза разбил, но разбил: осколки, холодный ветер, кровь. Случилось все быстро. Милиционер ударил Толю резиновой палкой по ногам, и тот повис, схватившись руками за верхнюю полку. Потом грохнулся на пол. Как его выволакивали, я не видел, проводница меня увела к соседям – к приятному молодому человеку и девушке.

Толю били под нашими окнами не меньше минуты: прибежал какой-то парень в спортивном костюме, странно легко одетый, еще милиционеры. Били черными палками и кулаками. Так лечат у нас белую горячку – не самое, прямо скажем, редкое заболевание. Стоит

ли подробно описывать? Есть у них термин – «жесткое задержание». В какой-то момент мне послышался костный хруст, хотя что там услышишь за двойными-то стеклами?

Били и что-то приговаривали, о чем-то даже, видимо, спрашивали. Сбоку откуда-то приволокли Серого, тоже били. Серый сразу упал, спрятал голову, сжался весь, с ним они так не старались. Устали, служители правопорядка.

* * *

Мы наблюдали за этим ужасом из окна, потом поезд тронулся.

– Ужас, какой ужас! – девушка плачет, зачем мы позволили ей смотреть? – Как страшно! Не хочу, не хочу жить в этой стране!

– Вот – то, о чем я говорил, – произносит молодой человек. – Но вздыхать на эти темы, охать, *контрпродуктивно*.

Я не сразу понял, что натворил. Так после роковой медицинской ошибки некоторое время отупело смотришь на больного, на экраны приборов, на своих коллег.

– Они отлично подходят друг другу, – продолжал свою речь молодой человек, – избиваемые и бьющие. Вот если бы профессора из Беркли так избили, то он бы повесился от унижения. А эти встанут, отряхнутся, до свадьбы заживет.

– А вы бы? – спросил я. – Вы бы что сделали?

– Я бы? – он улыбнулся. – Уехал.

Мы все трое, по-моему, не очень соображали, что говорили.

– А отчего не уехать, – вступает девушка, – пока не пбили? Нормальные люди не должны тут жить.

Мой новый товарищ опять улыбается:

– Не представляю, как пережил бы это путешествие, когда б не милая моя попутчица. В этом поезде даже нету СВ.

Я огляделся: странно, купе, как мое, а все здесь дышит порядком, благополучием. Молодой человек источает вкусный запах одеколона. Да, тоже на конференцию. Бывший врач, в нынешней *ипостаси* – издатель, журнал издает («как Пушкин»), президент какой-то ассоциации, много чего другого. На столике полбутылки «Наполеона». И девушка, правда, милая.

– Вам надо рюмочку. – И рюмочки у него с собой, из какого-то камня. Оникс, не знаю, яшма. Каменные рюмочки. Да, очень хороший коньяк.

Молодой человек объясняет, отчего до сих пор не уехал: культура.

– Скажем, для моих американских друзей Triple A – Американская автомобильная ассоциация. А у нас какая ассоциация с тремя «А»? – Выдержал паузу. – Анна Андреевна Ахматова. – Победно оглядел нас и прибавил: – Да и бизнесы. – Так и сказал – *бизнесы*.

Хорошо отогреться под коньячок, когда стал причиной несчастья для двух человек!

– Вы абсолютно правы, – продолжает молодой человек. – Это не наша страна, это – их страна. – Разве я что-нибудь подобное говорил? – Мы с вами этих людей не нанимали себя защищать, заметьте. Действует своего рода негативный отбор. И вот результат: в рамках существующей системы гуманный мент невозможен! Система вытолкнет его. Что остается? Менять систему. Или опять – внутренняя эмиграция. На худой конец, – он трагически развел руками, – *дауншифтинг*.

Я поймал девושкин взгляд. М-да. Дауншифтинг.

В дверь постучали железным: «Через пятнадцать минут прибываем». Надо идти к себе за вещами, сосед мне поможет, спасибо.

В разгромленном купе меня ждало важнейшее открытие: я понял, кем были Толя и Серый. Под лавкой рядом с моим чемоданчиком стояли две огромные клетчатые сумки, с какими путешествует только одна категория граждан – челноки. И странная дружба моих

попутчиков стала понятна – очень разные люди подались в челноки, – и зверское их избиение – тоже понятно.

– Сведение счетов с конкурентами, – согласился со мной молодой человек. – Ментовской заказ.

– А чего так стараться, если заказ?

– Для души. Я ж говорю, менты – не люди.

Челноки. Моему собеседнику есть что сказать и об этой сфере человеческой деятельности.

– Они, видите ли, выполняют важную общественную функцию, – говорит он своим красивым голосом. – Нам всем, всему обществу, в какой-то момент захотелось одного и того же – дорогих шмоток, часов «Ролекс», не знаю, а тех, кто не может позволить себе швейцарский «Ролекс», – он тряхнул левой рукой, – тех челноки вроде ваших этих – как их бишь? – обеспечивают «Ролексом» китайским, каким угодно, но ведь это тоже часы, они время показывают. И выглядят хорошо.

Тяжелые сумки какие! Куда их теперь девать? Отдать проводнице? Нет, эта сволочь у меня ничего не получит! Молодой человек пожимает плечами, я вытаскиваю сумки в коридор:

– Поможете донести?

– Знаете что? – он думает. – Давайте-ка свой чемодан. Ну как я буду выглядеть с этими жуткими баулами?

Ладно, спасибо. Мне хочется сделать ему приятное, и я говорю:

– У вас такая милая спутница!

– Да бросьте вы! – отвечает. – Ни кожи, ни рожи. Семь с половиной баллов.

Зачем-то я уточняю:

– По десятибалльной шкале?

– Нет, по семи-с-половиной-балльной! – смеется он. – И в голове у нее все совершенно topsy-turvy, понимаете? – вверх тормашками.

Я удовлетворен: ничего у него с ней не вышло. Странно, что в подобных обстоятельствах меня это волнует, но слишком обидно было бы провести время настолько по-разному.

Проводница равнодушно выпускает нас на перрон, девушку встречают, мы с ней прощаемся, ждем носильщика, потом, едва поспевая, идем за ним и видим транспарант: «Привет участникам...», конференция действительно намечается серьезная.

Погрузившись в такси, молодой человек произносит:

– Знаете что, бросьте вы этих своих *избиенных*! – И тут же хмыкает пришедшей в его издательскую голову шутке: – Избиенных – ISBN какой-то.

– Но ведь именно я стал причиной их неприятностей! Не то слово – беды!

– А, – машет он рукой, – интеллигентский комплекс вины. По всей стране сейчас менты лупят челноков. Пора бы привыкнуть: жизнь устроена несправедливо. Оставьте вы это в покое.

«Нет, – говорю я себе, – он пошляк. *А это* я так не оставлю».

По заселении в гостиницу я требую телефонный справочник и всюду звоню. МВД, РЖД, УСБ – куча аббревиатур. Как ни странно, легко пробился. «Подъезжайте. Полковник вас примет». И вот уже через час или полтора я мчусь на такси в одно из их темных, безликих зданий. Клетчатые сумки со мной. Меня ждет полковник.

* * *

Черным по золотому – *Шац*, ниже – *Семен Исаакович* – написано на двери полковника, и еще ниже, в скобках – *Шлёма Ицкович*. Никогда не видел такого. Смело.

Хозяин кабинета только что проснулся и еще пребывал в летаргии. Он сидел на пустом диване, без подушки и одеяла, одетый в майку и в тренировочные штаны. Одной ногой Семен

Исаакович уже полностью влез в ботинок, другой – еще нет. Это был человек лет семидесяти, маленького роста, совершенно лысый, без усов и без бороды, но со множеством волос из ушей и из носа – отовсюду, откуда волосы расти не должны. Руки, плечи и грудь его были покрыты черно-седой шерстью. Я подумал: «В Исава пошел».

Как называть полковника? Имя Шлёма и подходит ему, и нравится больше, но Шлёма, наверное, для своих?

– Полковник Шац, – произносит он, ковыляя к столу, – так и не влез в ботинок.

Ясно, товарищ полковник.

Живот у него большой, руки толстые, как у штангиста. Широкий, мясистый нос в рытвинах, и щеки все в рытвинах. Глаза описать затрудняюсь: я в них почти не смотрел. Полковник доходит до стола, надевает форменный пиджак поверх майки, садится.

Я немножко подготовился: врач, участник международного конгресса.

– Врач, – говорит он. – Бюджетник. – Молчит. – Сядь.

Сажусь на маленький стул напротив. В комнате всего-то есть: большой полированный стол, диван, несколько стульев. Видно, ремонт недавно делали.

– Аид?

Киваю. Смешно: бюджетник-айд. Как и он. Может, поговорим о деле? Излагаю: попутчики-челноки, негуманное, мягко сказать, отношение, сведение счетов руками его сотрудников. Хотелось бы беспристрастного разбирательства, справедливости. Как минимум вещи должны быть возвращены владельцам.

Полковник то ли кивает, то ли мелко трясет головой.

Телефон. Он снимает трубку, отвечает короткими предложениями, в основном матом. Я мата и вообще грубости не люблю, но здесь это органично.

Стены голые, без чьих бы то ни было изображений. Только на одной стене – карта мира с торчащими из нее флажками. Масштаб притязаний. Систему, по которой воткнуты флажки, понять невозможно.

– Давайте, заканчивайте там, – кладет трубку и обращается уже ко мне. – Парторг у нас был, Василь Дмитрич, хороший человек, каждое утро выпивал бутылку коньяка. В восемь ноль-ноль уже был бухой.

Зачем мне знать про Василия Дмитриевича? Ну-ну.

– ...Так он *тырил* столько, чтобы иметь каждое утро бутылку коньяка. Ты понял?

Я пока слушаю.

– ...А здесь вон, – кивает на телефон, – у директора государственного учреждения изъято тринадцать миллионов долларов – только наличными. Сотрудники по полгода зарплату не получали. Скажи мне, зачем этому *чудаку* тринадцать миллионов долларов?

Эффектно, да. Но как это относится к несчастным челнокам?

– Челнокам? Можно и так сказать. Читай.

Полковник достает ту самую газету, которую мне уже предлагали – в поезде.

«По подозрению в совершении двойного убийства, – читаю я, – разыскивается уроженец Петрозаводска...» – и фотография Толи, с усами. Здесь он смеется, застолье. Убиты мужчина с подростком, девочкой. Пустили к себе Толю жить.

Очень тупо: мужчина жил вдвоем с дочкой, продал квартиру, чтобы переехать в меньшую, Толя вызвал товарища... Да, понимаю, Серый, Сергей.

– Нет, не Сергей, – говорит полковник. – Серый – от фамилии. Которая в интересах следствия не разглашается.

Я с трудом складываю газету, возвращаю ее полковнику, руки у меня дрожат, и голос дрожит.

– Извините, товарищ полковник, – все-таки произношу я, – но желтая, да и любая пресса – не доказательство. Это, простите, неубедительно.

– А ты что – суд присяжных, чтоб тебя убеждать?

Он сказал это так, что я понял: в газете написана правда.

Полковник достает несколько фотографий:

– Врач, говоришь? Ну, смотри.

Проходили мы судебную медицину, но это было другое. Мне стало нехорошо, и я этого не сумел скрыть.

– На, – налил мне воды. – Попей.

Как именно Толя с Серым их убивали, я рассказывать не буду. Есть вещи, которые вот точно никому знать не надо.

Объясняю полковнику: плохо спал, коньяк без закуски, ну, в общем...

– Ферштейн, – отвечает он.

– Зачем эти фотографии?

Для достоверности. Абонентов их здешних разговорить.

Вычислили убийц по телефонным звонкам из квартиры. Номера все фиксируются на АТС, я не знал. Кто-то один или оба звонили в Петрозаводск, и до преступления, и главное – после. Роуминг, сэкономили.

Они не сразу ушли, ночевали в квартире с трупами, это очень на меня подействовало. Когда умирает больной, то хочется – окна настежь и поскорей – из палаты, а эти... Да, ночь провели, может быть, даже две.

– Боже мой, – лепечу я, не соображая от страха, – я ночевал с убийцами! И спокойно спал! Ничего не чувствовал. Боже мой!

На полковника это не производит особого впечатления.

– Не думай о них, – говорит он. – Убийцы – средние люди.

* * *

Опять телефон, опять он больше слушает, чем отвечает, у меня снова пауза, и я этой паузе рад. Кладет трубку.

– Что тут? Смотрел? – Про сумки.

Нет, и в голову не пришло. Берет сумки, легко поднимает на стол. Очень сильный.

– Руками не трогай. А то придется пальчики откатать.

Электроника. Игровая приставка – для Серого, конечно. Открывает футляр:

– Это что?

– Флейта.

Девочка играла на флейте? Черт, мне опять дурно.

– Необязательно, все может быть из разных мест.

Шмотки. Даже шмотками не побрезговали! Нет, шмотки – иконы прикрыть.

– Иконы, – произносит полковник. – В Бога веришь? – Не дожидаясь моего ответа, говорит: – Теперь все верят. У нас даже еврейчики ходят с крестами.

Я инстинктивно провожу рукой по шее: не видна ли цепочка? Надеюсь, полковник не обратил внимания. Мне вдруг не хочется его огорчать.

Книги. Не книги – марки.

– Понимаешь в марках?

Нет, откуда? Марки, я знаю, бывают очень дорогие.

Полковник укладывает вещи назад:

– Все это стоит деньги.

– А у этих, убийц, интересно, на шее есть крест?

– Ничего интересного. Говорю тебе – средние люди.

* * *

Я встаю и хожу по комнате. Как же так, а? Как же так? Почему я настолько не разбираюсь в людях? Почему не понимаю сути вещей? Снова пью воду, я уже тут немножко обжился.

Полковник убирает сумки.

– Сядь. Ты все правильно сделал. Помог следствию. Пришлось бы в городе брать.

Теперь вижу: просто удачное совпадение. Оказывается, из Москвы тем же поездом ехал оперативник – их арестовывать. Вспоминаю человека в спортивном костюме. Просто удачное совпадение. Могли бы вообще не найти. Раскрываемость же ничтожная.

– Ничтожная? Кто сказал тебе? Какой *чудак*?

Полковник усмехается и ласково произносит:

– Шлемазл.

Такого слова нет в моем лексиконе. Что это значит?

– Шлемазл, – с удовольствием повторяет полковник. – Сосунок.

Вот для чего я явился в Петрозаводск: чтоб меня сосунком обзывали. Горько.

– В Америке, – говорю, – как-то обходятся без того, чтобы бить всех подряд дубинками. Есть процедуры. Я не выгораживаю убийц и так далее...

– В Америке, – отзывается он. – Я вот тебе расскажу.

И полковник рассказал мне историю своего отца.

* * *

Шац-старший, обрезанный еврей, в начале войны был призван на фронт, но повоевать ему не пришлось: уже в августе сорок первого вся их армия была окружена и сдалась. Шац обзавелся документами убитого красноармейца-украинца, так что его не расстреляли сразу и попал он не в концлагерь, а сначала в один трудовой лагерь, потом в другой. Оказался в Рурской области, на шахте.

– Знаешь, что такое по-немецки «Schatz»?

Богатство, сокровище, клад. Полковник кивает: отец кое-как говорил по-немецки, до войны все учили немецкий язык. Так вот, попал он на шахту с одним лишь желанием – жить. Хотя, как представишь себе: война неизвестно чем и когда закончится, что с семьей – непонятно. Трудовой лагерь – не лагерь уничтожения, но из тех, кто просидел всю войну, уцелела одна десятая.

Пристроиться переводчиком? Нет, это было исключено. Во-первых, чтоб затеряться, надо быть как все, а во-вторых, нормальные люди в лагере были настроены исключительно по-советски. Только подонки имели дело с немцами больше, чем заставляют. Шац вел себя по-другому: он выполнял не одну норму, а две. За это давали премии – хлеб, табак. Бросил курить. Единственная, можно сказать, радость, а бросил – чтобы еды было больше, чтоб работать, выполнять план. У товарищей табак на еду менял и всегда был сыт. Когда поднимался из шахты первым, воровал у охраны – картошку, яйца, хлеб. Только еду. Били, когда ловили, сильно били, каждый раз – двадцать палок. Немцы, порядок. Вся спина была черной от палок. Били, но не убили.

– Так и не узнали, что отец ваш – еврей?

– Пока шла кампания по выявлению – нет. В бане его прикрывали, для своих он придумал что-то.

– Фимоз.

– Вот-вот. Потом узнали. От наших же и узнали.

Когда открылось, что Шац еврей, жить ему стало существенно тяжелее. Вроде как «полезный еврей» – слово на этот случай у немцев было. Норму уже выполнять приходилось – тройную. И терпел – от немцев и от своих. Но настоящих садистов в лагере было немного. Охранники тоже – обычные люди.

– Средние, – подсказываю я.

– Да, средние, – полковник не замечает иронии.

Садистов немного было, не больше, чем теперь, но одна была – жена коменданта лагеря. Красивая баба, говорил отец. Туфлей любила ударить в пах. Штаны при себе снимать заставляла. Развлекалась, в общем. Доразвлекалась.

Освобождали их американцы. Делали так: окружали лагерь и ждали, пока охрана сдастся и заключенные ее перебьют. Сутки могли ждать, двое. Выдерживали дистанцию. Обычная для американцев практика. Немцы к ним в плен хотели, но зачем им пленные немцы?

– Что он с ней сделал? – спрашиваю.

– *Отымел.* Понял? Первым.

– А потом? Потом что? Убили?

– Ну, наверное, – пожимает плечами. – Немцев всех перебили, вряд ли кто-нибудь спасся. Мы некоторое время молчим.

– Скажите, как отец ваш потом относился к немцам?

– Нормально. Почему «относился»? Жив отец. Злитесь только, что пенсию немцы не платят. Он нигде у них по документам не проходил как Шац.

Жив отец его. И что делает? – Ничего он не делает, что ему делать? На рынок любит ходить. Бабу эту немецкую вспоминает. Раньше, пока была мать, молчал, а теперь чаще, чем о собственной жене, говорит.

В кабинете почти темно. Мне вдруг хочется поддержать полковника, хотя бы посмотреть ему в глаза, но он сидит спиной к окну, и глаз его я не вижу. Пробую что-то сказать: про недержание аффекта, про старческую сексуальность. Принадлежность к врачебной профессии как будто дает мне право произносить ничего, в общем, не значащие слова.

– За всю войну, – говорит полковник, – отец мой не убил ни одного человека. И если бы американцы твои освободили его как надо, по-человечески, теперь бы он немецкую бабу эту не вспоминал.

Полковник закончил рассказ и постепенно впадает в летаргию. Наверное, надо идти?

Спрошу напоследок:

– А что флажки у вас на карте обозначают?

Он вдруг широко улыбается, в полумраке видны его зубы:

– Ничего не обозначают. Флажки и флажки. Просто так.

Ну что, я пошел?

– И куда ты пошел без шапки? – спрашивает полковник. – Шапка есть?

– О, даже две: кепка и теплая, шерстяная.

– Надень шерстяную.

* * *

Петрозаводск: темень, холод, лед, улицы едва освещены, ничего не разберешь.

Вечером встречаю на конгрессе молодого человека с красивым голосом, того самого, из поезда, он делится впечатлениями от города, говорит: «Такая же жопа, как все остальное», и выражает желание продолжить знакомство в Москве.

– Пообедаем вместе? Я приглашаю. – Между прочим спрашивает меня: – Разузнали про давешних *любиенных*? – Молодец, нашел слово.

– Нет, – отвечаю я. – Нет.

февраль 2010 г.

Маленький лорд Фаунтлерой

рассказ

– Эрик, что за имя такое «Эрик»? – спрашивает неизвестная медсестра. – Не с любопытством спрашивает – с осуждением.

Он заходит в сестринскую, она не смущена, смотрит прямо, недоброжелательно. Такое имя, не извиняться же. Пусть. Привыкнут, одобрят – и имя, и всё.

Здесь он лечит больных по субботам: в реанимации и так, кого пришлют. Эрик у них единственный кардиолог.

* * *

Не город, но и, конечно же, не деревня, что-то промежуточное, средний род – предместье, вот правильное слово. Обитателям дач по ту сторону железной дороги оно является в снах, у всех почти одинаковых, местом для несчастий, бесформенным кошмаром. Даже по хозяйственным делам там не стоит бывать, да и переезд испокон века заслоняют бетонные тумбы, так что – только пешком или на велосипеде. «Ослика заведи», – советовали остроумно.

Итак, если двигаться из Москвы, то по левую руку от железной дороги располагаются дачи, а по правую – хаос: многоквартирные дома, промышленность, серые бетонные учреждения. Промышленность в последние годы захирела, и, как говорят, к лучшему, если иметь в виду качество воздуха и воды, люди же в домах продолжают жить, и, хоть и вяло, – размножаться. А в целом поменьше бы думать про то, что творится за бетонными тумбами, – оно, глядишь, и сниться перестанет.

Вот дачи хорошие тут, классические: участки по полгектара, сосны, песок, не грязно никогда, много неба, один недостаток – отсутствие далей. Поезда не мешают, к поездам привыкли, а вот далей и большой воды, хотя бы реки, не хватает. Участки большие, очень большие, с почти одинаковыми домами – на две семьи, каждой по этажу. Теперь это кажется анахронизмом – где privacy? – но дачи строили в конце двадцатых, для бывших политкаторжан, тогда и мечтать не приходилось о большей отъединенности, да и слова такого не было – privacy.

Бывших политкаторжан нашлось в свое время на восемьдесят с чем-то участков. Дачи с той поры, конечно, по многу раз сменили хозяев. Однажды на дне антресоли он обнаружил справку: в тысяча восемьсот восемьдесят первом году гражданка такая-то – дальняя, непрямая родственница – участвовала в цареубийстве. Справка выдана по месту лечения, печати, подписи, дата – тысяча девятьсот двадцать шестой. Не стал никому показывать справку, пусть постоит.

Вот так – дача, не хуже, чем у многих, даже лучше, и ребенку полезно: хвоя. Как же он очутился на той стороне? Улыбался устало: зачем спрашиваете, я же, мол, врач. Соседку отвезли с сердцебиением, мерцательная аритмия, знаете, что это? Ничего, стукнули током тетеньку, вылечили. А совсем близким людям объясняет: внутренняя потребность.

Странное поведение, что и говорить. Боря, институтский товарищ, нейрохирург, улыбается широко, зубы у него изумительные:

– В любви к народу упражняешься, Швейцер? Или семья надоела? – Было всегда в Эрике что-то неправильное. Лучше б докторскую дописал.

Да нет же, он только по субботам, при чем тут семья? Один на один с больными, как в юности. Боря все пристает, ему можно: набрал для него лекарств у себя в отделении. Боря лысоватый, плотный, мясной: крепкие руки, толстые пальцы, не хватает лишь волосатой груди из разреза пижамы. Они работают в одной многопрофильной клинике, разные кафедры, раз-

ные корпуса, у Бори дача по той же ветке неподалеку, и карьеры складываются похожим образом.

– В кого ты получился такой... – ищет слово, – аристократ? Был ведь, как все, пионером. Другие, что ли, тебе книжки давали, чем нам? – Боря им недоволен: тоже мне, доктор Гааз, «спешите делать добро».

Какую книжку Эрик сам прочел – первую? Должен помнить.

– «Маленький лорд Фаунтлерой».

Про что эта книжка, и кто ее автор, Эрик забыл. Надпись на ней была, маминым почерком, тогда еще твердым, красивым, и даже не скажешь, что женским: «Чтобы жизнь тебе не мешала становиться добрее и лучше» и день его рождения, шесть лет. Учили: быть хорошим. Зачем быть хорошим, не объясняли, и так ясно. А надпись эту и название он помнит: «Маленький лорд Фаунтлерой».

* * *

Полставки ему предложили, с платных услуг, хозрасчетные. Он и не думал про деньги. Почему нет? Он согласен. Сколько возьмет себе? Как-никак с собственным оборудованием... Оборудование не вполне собственное, из клиники, все маленькое, переносное, в понедельник он его возвращает.

– Половину.

Женщина-замглавврача улыбается, хотя тут не принято. Она ему не удивилась: мало ли зачем москвичу их больница? Наука, то да се, знаем. Деньги никогда не лишние, но пятьдесят процентов – заведомо многовато.

– Женщина к нам приходит, знаете, умерших одевать, подкрашивать, все такое, берет только тридцать.

Надо же, вот кто его конкурент! Теперь, похоже, он обеспечен историями, это вам не Москва. И там, понятное дело, разнообразие: вот у них тысяча двести сотрудников на четыре-ста коек, так что все, кто лечатся, – или родственники врачей, или активные люди, приезжие, или – за деньги. Истории случаются, конечно, но келейно, камерно, до Эрика доходят редко.

А этой самой женщине он ничего не скажет, все останется между нами, *entre nous*, понимаете? Впрочем, – широкий жест, не зря, видно, Боря дразнится аристократом, – он готов и бесплатно, и... как угодно.

– Бесплатно? – Вот это зря. Так его надолго не хватит. Она поводит головой влево, вправо. – Каждый труд должен быть вознагражден.

Правда, зря он, само как-то вышло. Не хотел никого обидеть. Да и параллельные деньги, пусть маленькие, пригодятся.

– В рабочем порядке решим, – произносит новая его начальница.

Паспорт, диплом, копия трудовой, ага, ординатура, кандидатская. Все, устроился.

Он идет через двор, осматривается: несколько корпусов, охрана, как у больших. Надо же, уже устал. А потому что жарко, ужасно жарко, и ведь еще только май. На даче не так. Ну да, тут асфальт.

* * *

Медперсонал: все серые, вежливые, движутся тихо, силы берегут.

– Инфаркт. Посмотрите, если желаете.

Что значит «желаете»? Стесняются попросить, думает он, и смотрит. Нет тут никакого инфаркта, все отменить – и домой. Чем не веселье? Все здесь им внове, и кое-что получается, а вот – не весело. И медсестру ему дали – кусок глины, младше него, но кажется старше. Все

тут знает, смотрит внимательно, без улыбки, все делает. Зубы у людей плохие, оттого и не улыбаются. Как на картинах старых мастеров, – заключает Эрик, старается всех любить.

Жаркий двор, он сюда вышел побыть один, выглядывает из-за деревьев: приходят и уходят люди, с ошибочными диагнозами, случайными назначениями. Ничего, скоро он все улучшит. Устраивает семинар, но говорит на нем только сам, сотрудники явились, терпят, молчат.

Больных прибывает, и иногда он выбирается по ту сторону тумб и в пятницу вечером, и, когда позовут, в воскресенье. И стало прохладнее, начало июня выдалось холоднее мая.

– Какие-то они беспородные, – жалуется Эрик на коллег и на пациентов.

Чему удивляться? «Участвовала в царевубийстве» – вспоминает он ту бумажку. И все-таки прежде, во времена своей юности встречал он еще на лицах людей породу, не наследственную – приобретенную, книжную, а тут – о какой книжности говорить, когда отсутствует элементарная сообразительность:

– Это трудно, но не невозможно, – объясняет он медсестре. Речь про то, как перевести тяжелого больного в Москву. Сестра растеряна: так возможно все-таки или нет?

Впрочем, надо присмотреться: всюду жизнь, всюду люди должны быть симпатичные и не очень, и не заключена ли нравственная ошибка в самом этом слове «они»?

* * *

В середине июня замглаврача просит его явиться в рабочий день. – Заболел кто-то ценный? – Нет, вызывают в «органы», для беседы. – Зачем? – Разве можно об этом по телефону? – Начальница его спокойна, и Эрику пугаться нечего.

Один из массивных серых домов, заметных из электрички: здесь эти самые «органы» помещаются. Возле проходной его ожидает старший лейтенант, ему лет тридцать, а может быть, и не тридцать, Эрик уже понял, что возраст он определять не умеет. Вежливый, за руку здоровается, лицо некрасивое, в оспинах. Лейтенанта он рассмотрит потом, а пока что они направляются в бюро пропусков, все движется законным порядком.

Страшновато чуть-чуть, да и зачем эти подробности, когда – для беседы? Можно поговорить, например, и в больнице. – Нет, у нас так не принято.

Наконец они проходят в кабинет, который лейтенант делит еще с одним молодым человеком. Тот изготавливает из картона скоросшиватели, такие всюду продаются и стоят недорого, и занимается ими все время, пока лейтенант допрашивает Эрика. В кабинете бедно, даже не бедно, а прямо-таки разруха, нищета, больница и то современнее. На стене карта мира, на подоконнике – газета с окурками, кипятильник, израсходованные пакетики из-под чая.

– Курите? – Лейтенант протягивает пачку.

– Нет, – зачем-то врет Эрик. – Могу я поинтересоваться...

Потом, ему все объяснят, а пока пусть послушает: против себя и ближайших родственников он может не свидетельствовать. Понятно? Тогда распишитесь. Еще минутку внимания: о каких именно родственниках идет речь. Муж – жена, сын – дочь... Список заканчивается неожиданно: дед, бабка. Эрик смеется, немножко заискивающе:

– Прямо написано – «бабка»?

– Да, таков юридический язык, – его собеседник тоже улыбается, ласково.

Всё? Нет, теперь он сам прочтет статью про то, какая ответственность предусмотрена за ложные показания. И за отказ от дачи показаний. Значит, он вызван свидетелем?

– Ладно, какой там... – лейтенант машет рукой: поступил сигнал, и они его отрабатывают.

Эрик рассматривает книгу: странно издан уголовный кодекс, с карикатурами. А лейтенанту нравится: расслабляет. Наконец он показывает бумагу, ту самую, которая – сигнал. Имя автора ничего Эрику не говорит, и он его сразу забывает. Чужие люди явились в наш дом – вот общее настроение бумаги, про него, про Эрика, писано. А вывод такой: не позволим! Ничего

не позволим: опытов над людьми, трансплантации наших граждан на органы. Поэтому лейтенант и пригласил его: имеет он отношение к трансплантации? Нет? Так и запишем. Лейтенант вздыхает и принимается печатать протокол: медленно-медленно, все старенькое, допотопное.

А что он вообще думает о трансплантации? – Не решение проблемы, конечно, но в отдельных случаях... Некоторым из его больных пересадка сердца сильно удлинила бы жизнь. Да только нет никакой у нас трансплантации. А органов хватает – вон сколько аварий и катастроф. Но тут знаете, какая организация нужна? Заморозить, доставить, быстро врачей собрать. У нас и простых-то вещей нет, а уж трансплантации...

– Эх, лента стерлась вся, – опять вздыхает лейтенант.

Давно Эрик не видел матричных принтеров. Он решается теперь покурить, смотрит в окно: надо же, скоро вечер. Сосед лейтенанта уходит, где-то там, в районе дач, спускается солнце. Наконец и лейтенант доделывает работу и принимается за рассказ об успехах их службы, об огромных технических достижениях, о том, какие они молодцы. Единственная некоррумпированная организация. Вот ведь, кто б мог подумать.

Вроде можно уходить, сейчас лейтенант подпишет пропуск. И вдруг он просит ответить еще на один медицинский вопрос:

– Скажите, грыжа диафрагмы – это очень опасно? – как он разволновался, даже голос стал выше.

– Нет, что вы! – восклицает Эрик, его отпустило. – Ерунда. Не ложитесь сразу после еды – вот и все.

Оказывается – не всегда ерунда. У лейтенанта ребенок умер от этого, двухлетняя девочка. Операцию сделали – и умерла.

– Где? – теряется Эрик, трудно все время вот так перестраиваться. – Не у нас?

Нет, девочка умерла в Москве, в ведомственной больнице. У нас таких операций, скажи, не делают. Так и есть... А недавно у лейтенанта еще одна дочь родилась, какова вероятность, что – с грыжей?

За последние несколько минут лейтенант очень изменился. Или это свет так падает? А про грыжу он почитает, поспрашивает.

Вечером в субботу двадцать первого июня на дачу к нему заезжает Боря: футбол посмотреть, после грозы телевизор у него не работает. Эрик равнодушен к футболу.

– Великая игра, – объясняет Боря. – Кульминация всего мужского: удар – гол. Как секс. – Жене и ребенку лучше не слушать. – Только футбол еще лучше, с бабой там – мало ли, облажаешься, а тут полтора часа чистого кайфа. Понятно?

Да понятно, понятно все.

Наши выиграли, и Боря собирается уезжать – очень довольный: не хвост собачий, в четверку сильнейших вышли. Крякает удовлетворенно: хороший тренер у нас, голландец! Он, Боря, всегда говорил: надо брать иностранного специалиста. Жалко, Эрик так ничего и не понял в футболе.

– Будь проще, – советует Боря, – и к тебе потянутся люди.

Хочет ли Эрик, чтобы люди тянулись к нему? Не особенно.

– Аристократ, аристократ, так и есть, дайте ручку поцелую.

– Перестань, – просит Эрик, – не паясничай.

– Слушай, а они тебя любят – там? – Боря показывает в сторону станции.

– Смотри кто, Боря, нет никаких «они». – Рассказывает немножко про лейтенанта и его дочерей, эх, так он и не почитал про диафрагмальную грыжу. – А любят ли? – Он задумывается.

– Если честно: не любят, нет.

– Ну и чего ты цапкаешься с ними? Совесть замучила? Знаменитое чувство вины? – Тут, может быть, Боря и прав: чувство вины, перед всеми – сначала родители, теперь жена, ребенок – присуще Эрику. А уж перед некоторыми больными как виноват! – навсегда.

– А тебя, Боря, – хочется ему спросить, – совесть ни за что не грызет? – Нет, не грызет, конечно: он ей не по зубам.

– Ладно, – Боря хлопает товарища по спине, – все будет кока-кола, живи футболом! – и уезжает, а из-за станции слышится рев: «О-ле, о-ле, о-ле, впе-ред, впе-е-ред...» Там грохот, рев, салюты, сигнализации у машин надрываются, у нас на дачах пока спокойно. «Оле, оле» – да, развивается язык. Пьяная, плавающая, наглая интонация.

Днем в воскресенье, двадцать второго июня, передают: «Скорбь, связанная с годовщиной начала войны, разбавляется нашей общей радостью о вчерашней победе». И тут же звонок: всё понимаем, но нельзя ли срочно – в больницу?

* * *

На «скорой» оживленно. Здоровенный дядька лет тридцати, еще фельдшер, милиционер, еще человек какой-то со стертой внешностью – в пиджаке, а на кушетке – парень, крепкий такой, качок. Фамилия его – Попров, семнадцать лет. Плохо именно ему, сердце болит. Стоило ли ехать? Эрик смотрит парня, слушает, кардиограмма, то-другое, так и есть – здоровехонек. Нервничает только, дрожит он очень, оттого и помехи на кардиограмме, а так – ничего. Надо писать заключение.

– Фамилия как? Попов?

– Попров, – ревет здоровенный дядька. – Попров Алексей! – Он не знает, кто такой Попров? – Совсем, что ли, отмороженный? А-а-а, нездешний... С дуба рухнул, нездешний?

Милиционер выталкивает дядьку за дверь.

– Кто он ему? – не понимает Эрик. Для отца вроде молод. Ну так, дядя. Помощник отца вообще-то, по общим вопросам, ничей он не дядя. – И что натворил задержанный? – равнодушно спрашивает Эрик, как свой, иначе ничего не узнаешь. Да так, таджика отмудохал бейсбольной битой. Попраспозновал. – Бита-то зачем? Откуда вообще тут биты? У вас что тут – бейсбольный клуб?

Ржут все, даже, кажется, Алексей.

– Один? – спрашивает Эрик фельдшера, пока Попова поднимают, дают одеться.

– Кто с тобой еще был? – орет на Попова милиционер.

Разве так на ходу допрашивают?

– Касается этого, гражданин начальник...

Ишь ты, набрался слов.

Попров оскаливает зубы. Он своих не продает. Вот так, принципы. Зубы у него крепкие, белые, еще мощнее, чем у Бори. «Врежут раз – и расколется», – думает вдруг. Ладно, он только врач, и чем отвратительнее подопечный, тем сильнее надо стараться.

– Вот таблеточки – успокойся, – принес ему пачку, из личных запасов.

У Эрика из-за спины появляется чья-то рука, неприметный человек забирает таблетки.

– А вы ему – кто? – спрашивает Эрик его тоже.

– А я ему, – отвечает неприметный, – начальник изолятора.

По-простому – тюрьмы. О, это запомнится.

– Послушайте, уважаемый!.. – обращается к нему начальник тюрьмы, что-то он должен ему разъяснить.

– Доктор, – подсказывает Эрик, – говорите: «доктор».

– Наша система, доктор, чтоб вы не подумали, работает медленно, но...

Но – что?

В коридоре – его медсестра, откуда она тут в воскресенье? Расстроена: жалко Алешу ужасно, знала еще ребенком. – И какой он был ребенок? – прямо удивил ее Эрик своим вопросом: дети все хорошие. Жизнь себе Алеша испортил, жалко. В секцию самбо ходил, собирался

стать стоматологом. – А этого, таджика, не жалко? – Да, жалко, конечно, тоже человек. Где он, кстати? – Тут он, в реанимации, на искусственном дыхании. Желаете посмотреть?

Чего уж там, давайте. Таджик, худой, черненький, без сознания. Сколько ему? Двадцать два. Впечатление, что гораздо меньше, совсем мальчик. Татуировок нет, кожа смуглая, кровоподтеки. Глаза закрыты марлей. Снял, посмотрел зрачки, глаза у таджика серые. Муха по плечу ползает, пошла вон! И руки посмотрел: ни ушибов, ни ссадин – ни с кем он не дрался. – Ночью к нам поступил: кома, переломы лицевого черепа, ребер. Не по вашей части. – Из мочевого катетера капает мимо банки, поправьте. Грустно все это выглядит. Монитор, аппарат искусственной вентиляции – все кажется живее мальчика. Сердце еще послушал – тут все нормально, пока. А мозги живые? Кто же их знает...

А где старший Попров? В Европе он, наших поддерживает, двадцать седьмого – полуфинал. Побеспокоить бы можно было вашего Попова. Нет, Попова, по-видимому, лучше не беспокоить.

* * *

Он возвращается на дачу, ест, станет прохладнее – и в Москву. Но после еды засыпает, а проснувшись, думает: Попров-младший, Алеша, умница-стоматолог, купил, значит, биту... Вот тебе и самооборона без оружия. «Брата» смотрел неоднократно, любит. У таджикского мальчика на шее штука какая-то металлическая – не крестик, не амулет: имя, может быть? – мама надела, перед тем как поехал сюда. Зачем ехал? А все едут. Люди поступают как все. «Не убивай, брат», – просит мальчик. А Алеша Попров улыбается во весь рот и – по накатанному: «Не брат ты мне, гнида черножопая!» И битой – куда придется.

Тяжесть, Господи, какая тяжесть... Звонит, сонный, Боре:

– Физкультпривет, – говорит. И молчит. – Ты уже с дачи уехал? – И опять молчит. По шуму в трубке ясно: уехал.

– Чего надо? Чего молчишь?

– Собираюсь с духом, попросить, – эх, лишь бы вышло! И просит.

Нет, Боря уже уехал. Ох, fuck.

– ...Сказал бедняк, – отзывается Боря.

Удачно вышло, и вдруг:

– О-кей, разворачиваюсь. – Хороший он, Боря.

Через полтора или два часа они стоят возле больницы, Эрик курит, они говорят. Плохо дело, еще хуже, чем предполагалось. И все-таки надо в Москву везти, томографию головы сделать, какой-то шанс есть. Хорошо, Боря его заберет, с ребятами договоримся. Выписку давай, паспорт, консультацию мою запиши. Родных нет? Чего он, совсем бесхозный?

В пустой ординаторской они пьют кофе, болтают на национальную тему.

– Таджики арийцы. Что бы это ни означало.

– Да? – Боря не знал, думал, хачики.

– Хач, кстати, – Эрик интересовался, – по-армянски – крест.

– Крестики. Тоже неплохо. Крестики-нолики, – Боря шутит из последних сил.

Перевозка приходит под утро.

Хороший он, все-таки, Боря.

– Ты тоже ничего. Маленький лорд Фаунтлерой. – Оба едва стоят на ногах от усталости. – Теперь ты их благодетель. Такого больного перевести, а! Ничего, довезем. Кто не рискует, не пьет шампанского. Хочешь шампанского?

Эрик качает головой:

– Что-нибудь придумают нелестное, вот увидишь, – но и сам не очень верит в то, что говорит. Такое даже эти оценят.

* * *

На неделе он отвлекается от истории с таджиком, да и не теребить же Борю каждый день. В пятницу утром, проезжая мимо спортивного, вспоминает, останавливается. – Биты? Да, сколько угодно. – А... варежки такие и шары для бейсбола? – Нет, не поступали. Мы не в Чикаго, моя дорогая, – вдогонку.

Собравшись с силами, он звонит-таки. Боря расслаблен: снова жара, в футбол наши слили. Германия с Испанией в финале, две страны фашистского альянса. Работы, как всегда летом, мало.

– А этого нашего, – Эрик называет таджика, – куда дели?

– Куда что, – отвечает Боря самым естественным тоном. – Сердце в Крылатское уехало, легкие – на «Спортивную».

Разобрали таджика на органы, короче говоря.

– ...С легкими лажа вышла: хотели оба взять, а взяли – одно.

Эрик снова молчит в телефон.

– Почки еще есть, – наконец произносит он тупо.

– А почки как-то никому не приглянулись, – хмыкает Боря.

Зачем он смеется? Этого делать не следует.

– Доктор, вам показалось, – отвечает Боря. – Смерть мозга, умер он. Вот так. Мы его и смотрели-то в сущности мертвым.

Знал Боря, что так получится, или нет, когда увозил? Он его все-таки спросит. По крайней мере, имел ли в виду – возможность?

– Когда разворачивался на шоссе – не имел, а потом, когда забирали, то да, подумал. Я, видишь ли, нейрохирург. Никто тебе ни в чем не виноват. И потом: господин кардиолог, вы что-то имеете против трансплантологии?

Эрик вспоминает про «если зерно не умрет...», про «жизнь за други своя...». Нет, там другое, там добровольно...

– А у нас – презумпция согласия, слышал? «Нравится – не нравится, спи, моя красавица». Иначе вообще бы органов не было. Пьяный завтра тебя или меня на «КАМАЗе» задавит – и распотрошат за милую душу. Хотя сам знаешь, все у нас через жопу. Один раз четко сработали – ты и то... Ну помер бы твой таджик, как другие, – лучше было бы, да?

Может быть, и лучше, Эрик не знает. Смерть мозга, Боря сделал, что мог, это ясно, но зачем...

– Зачем – что? – Боря уже очевидно устал.

– Эти словечки... – Да-да, в словечках все дело.

И что Эрик объяснит теперь *тем*, за бетонными тумбами?

– А ты скажи им, что таджик их, возможно, две человеческих жизни спас. Шире надо смотреть. У нас ведь – никакой личной корысти.

Корысти, Боря, корысти. Кто говорит про корысть? Правда, не ссориться же им в самом деле. Жизнь одним таджиком не заканчивается, в медицине всегда так.

– Неврачебный разговор у нас вышел какой-то, дружище, – говорит Боря примирительно.

– Никто не знал, что так будет. – Да, печальная сторона профессии. – Ну все, брат, давай.

Конец связи. Достаточно.

* * *

Вечером безо всякой аппаратуры он отправляется на дачу, где ждут его жена с ребенком, необходимость вырубить разросшиеся клены, поменять насос, оформить собственность на землю. Всё как у всех.

За бетонные тумбы он больше не ездил.

август 2009 г.

Цыганка

рассказ

Он и человек разумный, и врач неплохой, мы хотим лечиться у таких, если что.

Врач, две работы – денежная и интересная. На интересной он думает: настоящая работа, врачебная, денег только не платят. А человек он молодой, ему нужны деньги. Маленькие дети, сиделка для бабушки, машина ломается, много желанных предметов, много всего вокруг, не стоит и объяснять. Но дольше, чем на несколько секунд, он о деньгах не задумывается. Нужны – и всё.

Денежная работа вызывает, напротив, долгие размышления. Я небесталанный, думает он, молодой – бабушка жива, разумеется, молодой, – многое надо успеть, на что я жизнь трачу? Он знает, на что ее тратить: жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. Отец ему говорил, назидательно, тяжело: занимайся тем, что имеет образ в вечности. И стихи читал, другие и эти. Давно это было, больше десяти лет уже, как нет отца.

Интересную работу его вообразить легко: смотреть больных в клинике, радоваться, когда помог, сделал что-нибудь новое, диагноз редкий поставил, огорчаться – ну тоже, конечно, – когда больные умирают или приходится много писать. Того и другого хватает: скорпомощная больница, дежурства, но он хороший врач, мы уже говорили.

Кое-как платят и здесь: благодарные больные, их родственники. Гонораров себе он не назначает: мало ли что – все, он – не все.

Денежную работу представить себе сложнее. Вот что это: возить за границу больных эмигрантов. Есть такая организация – отправляет людей насовсем в Америку, под присмотром. Евреи, баптисты, бакинские армяне, курды, странные люди – куда они едут, и как это все работает? Люди странные и занятие странное – возить их, но хорошо платят: шестьсот долларов за перелет.

* * *

И вот сегодня, в пятницу, – передать дежурство, забрать медицинские причиндалы, попасться на глаза начальству и к часу – в аэропорт, в Америку лететь, в который раз? – он давно уже сбился со счета. Быстренько сдать больного – да, надо еще из Нью-Йорка долететь до конечного пункта, на этот раз близко – Портленд, там его встретят друзья: два часа – и они уже в Бостоне, и в Америке все еще пятница. Деньги заплатят в Нью-Йорке, с больным он расстанется в Портленде, друзья – муж с женой, его однокурсники, рано поженились, рано уехали, любимые, надежные – не дадут истратить ни цента, а утром отвезут его прямо в Нью-Йорк – как раз туда собирались, они любят Нью-Йорк, они любят все, что идет их с ним дружбе на пользу. Будет суббота. Он вернется домой в воскресенье, выпится – и на работу, главную, интересную. Так каждый месяц.

Но когда он собрался уже идти, выходит заминочка – Губер. Больную одну надо глянуть. Губер – заведующий коммерческим отделом – обидчивый, вялый, мстительный, в сознании врачей – вор. От коммерческих больных – одни неприятности, а деньги все равно не врачам идут. Заметьте, Губер просил не сам, а через медсестер. Сам бы он выразился в том духе, что вам, мол, все равно делать нечего, так что посмотрите пациентку, пожалуйста.

Он посмотрит, но быстро. Где она? – в коридоре.

Сестра, тихо:

– Цыганка.

Он цыганку одну уже полечил месяца два назад. Странная была женщина, нетипичная. Сестры предупреждали: поосторожнее с ней. Молча разделась – по пояс, как велено, без обычных вопросов: «Бюстгальтер снимать?» Торжественность и презрение. Молча повернулась на левый бок, когда надо было. Без шуршания женского, безо всяких фру-фру, без «Ой, это сердце мое так булькает?» Очень резко взяла заключение. Кажется, сказала: «Спасибо». Чувствовалось: ненавидит она их, – слово в голову пришло – вертухаев. Раз в форме, пускай в медицинской, в халатах, в пижамах, то кто же они? – вертухаи. Куда она так торопится? Сестра объяснила: женщина в микрорайоне известная, наркотики продает. Сестры всё знают, они ведь живут тут, им удобней работать по месту жительства. Так что торопится женщина – дело делать. Сын у нее еще – взрослый, девятнадцать лет, не в его дежурство это было, – умер. Вот отчего такая торжественность. Ладно, ничего серьезного, да и цыганка она какая-то ненастоящая. Худая, стриженная. С фамилией искусственной – что-то такое, как будто русское, цирковое. Замужем, интересно? Сестры и это знают: первый – повесился, нынешний муж – без ног, попрошайка. Честно говоря, достали эти несчастья. Ну, врач не должен так думать, тем более – говорить.

Сегодня другая цыганка. Та была относительно молодая, эта – старая.

– Что у них с нашим Губером? – удивляется медсестра. – Всей правды мы никогда не узнаем.

– Зовите ее, быстро только.

Суетливая бабка с невнятной речью, рыжие, неаккуратно крашенные волосы, руки грубые, отеки вокруг перстней, отеки лица, ног. Пестро одета бабка, наши не так одеваются.

Сестра ворчит: вот укуталась!

– Тепло уже, бабушка, апрель!

И что, что апрель? – ей всегда холодно.

Хорошо, что ее беспокоит? Они спешат.

Цыганка мямлит, не разберешь. Сколько ей лет? Она и возраст назвать свой не может!

– Бабка, ты не в гестапо, – взрывается медсестра, – говори!

Нельзя так с больными, особенно – коммерческими, от Губера.

Им надо записать ее год рождения.

– Пиши – двадцатый...

– А на самом деле какой?

– Двадцать восьмой напиши... Тридцатый.

По документам – двадцатый, но не выглядит цыганка на семьдесят девять. Что за галиматня? «Галиматня», – говорит Губер, он из Молдавии. Его не поправляют, а за глаза смеются.

Спросим: сколько ей было во время войны? Не помнит. – Какой войны? – Войну не запомнила? Да где она жила?

Отвечает:

– В лесу.

– В лесу? Что делала?

Сестра смотрит на него: неужели же он не понимает, что они делают?

Цыганка:

– Песни пела.

Песни? В лесу? Давайте, раздевайте ее совсем.

Сестре его явно не по себе.

– Таблеточки назначь, получше, – просит цыганка.

Раздевайте, раздевайте. По кабинету распространяется душливый запах.

– Обрабатывать надо опрелости, – злится сестра. – Ну и вонь!

Протрите вот тут. И тальком. Нечистая бабка, что говорить.

Он смотрит ее на аппарате – сердце большое, хорошо видно. Действительно, сильно больная. Положить бы. Сейчас он распорядится. Сестра возражает: пропадет что-нибудь из отделения, а кому отвечать?

Бабка и сама не хочет лежать в больнице:

– Таблеточки получше назначь...

Ладно, пятнадцать минут еще есть, йод давайте, спирт, катетер, перчатки стерильные, новокаин. Ставит метки на спине у нее фломастером:

– В легких вода накопилась, сейчас уберем.

Сестра качает головой: только посмотреть просили, Губер будет не рад. – А мы ему ничего не скажем, вашему Губеру. Проводить через кассу не надо.

Что там бабка бормочет? – Она не русский человек, не может терпеть боль. – И не придется, укольчик и все.

Пусть жидкость течет, он напишет пока.

Полтора литра в итоге накапало.

– Легче дышать?

То-то же. Он дописывает заключение. – Пусть дадут ей таблетки получше, – просит цыганка, снова уже одетая, – и будет им счастье.

– Счастье? – кривится сестра.

Он знает, что она хочет сказать: от цыган – все несчастья. Нет, он кривиться не станет – не из суеверия, а так.

– Таблеточки получше, – повторяет бабка, – и чтоб сочетались, ты понял... – зубы оскаливает золотые.

С чем они должны сочетаться? С гашишем? Или с чем пожестче? Бабка пугается: зачем так говорить? Рюмочку она любит, за обедом. – Ну, если рюмочку... Да, отличные таблетки. И сочетаются.

Счастье, – думает он, – надо же! Счастье.

Цыганка принимается совать ему смятые деньги. Там одни десятки, ясно видно. Он отводит ее руку – какая, однако, сильная! – а сам понимает: все дело в сумме, были б тысячные бумажки, он бы, возможно, взял. Так что гнев его – деланный, и всем это ясно, кроме, как он надеется, медсестры.

– Разве можно в таком виде к доктору приходиться? – возмущается та, выпроводив цыганку.

Медсестра у него – нервный, западный человек! Окна открыла настежь, прыскает освежителем. Всё, он пошел.

– Вы меня извините, – произносит сестра, – но таких вот, как эта, вот честно говоря, ни капельки не жалко. Таких, я считаю, не следовало бы лечить.

Сейчас она скажет, что Гитлера в принципе не одобряет, хотя кое в чем... Какой там западный человек, просто дура! Выходя уже из больницы, обгоняет цыганку. Та хватает его за рукав: дай погадаю! – Нет, мерси. Дорога дальняя, он и так знает, что его сегодня – причем уже – ждет.

* * *

Он ездит в Шереметьево на машине – и долго, и расточительно, но он привык, хотя все-то вещей с собой – медицинская сумка, книжка, рубашка, трусы-носки. Все, кроме сумки, он сегодня забыл, почти что сознательно: так и не придумал себе чтения, а переоденут его бостонские друзья – после поездок к ним в его гардеробе всегда происходят улучшения. Читать он не будет, послушает музыку, у него с собой ее много и на любое состояние души.

В Шереметьеве его ждут огорчения. Во-первых, что, впрочем, не страшно, больная досталась тяжелая – старушка с ампутированными ногами, слепая, с мочевым катетером, у старушки сахарный диабет. Предстоит колоть инсулин, выливать мочу, каталки заказывать. С ней, однако, разумный как будто муж – ничего, долетим. Много хуже другое – он промахнулся с Портлендом. В билете не Портленд, штат Мэн, меньше двух часов на машине от Бостона, а другой Портленд, штат Орегон, на противоположной стороне Америки.

Надо же так обмизуриться, тьфу ты! Он рассказывает окружающим – люди из таинственной организации, отвечающей, в частности, за билеты, смеются: не такого уровня несчастье, чтобы сочувствовать. Эх, предупредить друзей – вот расстроятся! Он из Нью-Йорка им позвонит. Не несчастье, но лажа.

Ребята из службы безопасности – «секьюрити», русские – знают его давно, не шмонают, а так – поводят руками в воздухе: «Взрывчатые вещества, оружие есть?» – улыбаются, он и им рассказывает про передрагу с Портлендом. – Портленд, – говорят – ничего, не так страшно, вот Окленд есть – в Новой Зеландии и в этой, ну, где? – он подсказывает: в Калифорнии, – да, так один мужик... – Простые ребята, но есть в них какой-то шарм. Ему нравится постоять с ними, поразговаривать. Опять-таки, униформа их, видимо, действует.

Сейчас он – в который раз? – выслушает историю про то, как американка везла с собой кошечку – их помещают в специальные клетки, сдают в багаж, – а кошечка сдохла, грузчики шереметьевские ее выкинули, чтобы не было неприятностей, а в клетку засунули другую, живую, кошку, отловили тут где-то, и американка настаивала на том, что не ее это кошка, потому что ее была – мертвая, и везла она ее на родину хоронить. Возвращалась откуда-то. Из Челябинска. В прошлый раз было наоборот – американка с дохлой кошкой прилетела из Филадельфии. В сегодняшнем виде история выглядит естественней, и все равно она, конечно, выдуманная, и американцев ребята называют америкосами и «пиндосами» – новое слово, нелепое, «секьюрити» и в Америке не были, – но каждый раз он смеется. Всё, пора в самолет.

– Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятья! – поет один из парней.

– Прокатился бы я вместо тебя, доктор, – говорит другой мечтательно, – на небоскребы на ихние посмотреть.

Нет, ребята, медицина – это призвание.

* * *

– Прощай, немытая Россия! – произносит молодой человек, сидящий через проход.

Стандартный для отъезжающего текст – при нем его произносили не раз. Вначале, когда начинал летать, ждал человеческого разнообразия – эмиграция, серьезный шаг, потом понял: работа – как в крематории или в ЗАГСе, ограниченный набор реакций.

Взлетаем. Перекреститься – тихонько, чтобы не думали, что ему страшно и не пугались, на самом деле – ничего от тебя не зависит. За рулем, на скользкой дороге, в темноте – намного страшнее.

Самолет неполный, но не сказать чтоб пустой. Два места у окна – его. Следующие двое суток предстоит провести в пути. Два дня жизни в обмен на шестьсот долларов. Друг отца, бывший политэк, рассказывал: труднее год сидеть, чем пятнадцать лет, год – только и ждешь, когда выпустят, не живешь. Что же тогда говорить про поездку длиной в два дня?

Надо бы встать, проведать больную. Или еще подождать? Не лень даже, а профессиональная неподвижность, он всегда презирал ее в реаниматологах.

Есть в этом странном деле и свои способы сплутовать. Например, сделать вид, что ты здесь случайно, по своим делам летишь: пассажиру плохо, а тут русский доктор, и лекарства – чудо! – с собой. Стюардессы дарят таким докторам шампанское, разные милые вещи, помогают всячески. А разоблачат – и что? – так, чуть неловко. Они иностранцы, и он для них –

иностранец. Если же здоровье подопечного позволяет, можно и не лететь ни в какой Портленд, проводить до самолета – счастливого вам пути, have a good flight! – и застрять в Нью-Йорке на лишний денек. Имеющим наглость так поступать он завидует, но сам повторять их трюки не станет: мало ли – случись что, да и от слепой безногой старухи разве сбежишь? Его еще, между прочим, просили за баптистами присмотреть – им тоже до Портленда. С баптистами нетяжело: ни на что не жалуются, таблеток не пьют, да как-то и не болеют особенно, бестолковые только, детей целый выводок – вон, сидят в хвосте – раз забыли ребеночка одного в Нью-Йорке, потерялся в аэропорту, они и это легко приняли – добрые люди найдут, дошлют.

– Как себя чувствуете? – измеряет старушке давление, пульс.

Она в полусне. Отвечает муж:

– Как вы пишете в таких случаях – в соответствии с тяжестью перенесенной операции.

Что за операция? – Пятнадцать часов в поезде из Йошкар-Олы.

Мужа зовут Анатолий. Без отчества.

– В Америке нету отчеств.

Действительно нету. Страна забвения отчеств. Самолет – уже американская территория.

Ему хочется знать, что согнало их с родных мест, ему интересны люди, но, во-первых, он борется с привычкой задавать посторонние вопросы, на которые, как считается, у врача есть право, – отчего перебрались туда или сюда? чем занимаются дети? даже – что означает ваша фамилия? И, во-вторых, он боится стереотипной истории. Жили себе и жили, но тут сестра жены, скажем, или его двоюродный брат говорят: подайте бумаги в посольство, на всякий пожарный. Подали и думать забыли, и разрешение, когда пришло, игнорировали. Наконец, бумага: сейчас или никогда. Слово на людей действует – «никогда».

У Анатолия все иначе: у жены появилась почечная недостаточность, скоро понадобится диализ. Надо ли еще объяснять? В Америке сын, инженер.

– В Йошкар-Оле совсем плохо с медициной, считайте – ее просто нет.

Он кивает, думает: эх, если б раньше уехали, а так, конечно, старушка умрет на высоком технологическом уровне, вряд ли ей сильно помогут, – но говорит:

– Да, все правильно. Правильно сделали, что поехали.

– А Портленд – большая глушь? – спрашивает Анатолий. Хорошая улыбка у него.

– Как сказать? В сравнении с Йошкар-Олой...

– Бывали в Йошкар-Оле?

Он отрицательно мотает головой.

– А в Портленде?

– В этом Портленде – тоже нет.

– В Америке – двадцать один Портленд. Я смотрел. Наш – самый крупный.

Анатолий заговаривает со стюардессами, пробует свой английский. Вполне, кстати сказать, ничего. Старомодно немножко, а так – даже очень.

– Благодарю вас, польщен. – Вообще-то он сорок лет английский в вузе преподавал.

Не пора инсулин делать? Нет, пусть он не беспокоится: Анатолий сам. И инсулин сделает, и мочеприемник опорожнит. Отлично. Если что, они знают, как его разыскать.

Снизу земля. Канада уже? Смотрит на часы: нет, Гренландия. Еда, немножко сна, кинишко ни про что. Как там баптисты? Помолитесь, поели, спят. Позавидуешь.

Наконец-то. Первые десять часов убиты. Самолет приступает к снижению.

* * *

Нью-Йорк: ожидание коляски, возня с бумажками, мелкое недоразумение с офицером иммиграционной службы.

– Сколько лет работаете врачом? – спрашивает.

– Уже десять. С двадцати двух. Нет, трех.

– Bullshit, – говорит офицер. Галиматня. Такого не может быть. Русские обязаны служить в Red Army.

Он пожимает плечами. Псих. Можно идти?

Анатолий догоняет его в вестибюле: он все объяснил офицеру. Про военную кафедру и т. п. Офицер просил передать извинения. Удивительно. Извиняющийся пограничник. Точно, псих.

В остальном все идет гладко. Они получают багаж – Анатолия, старушки, баптистов – и снова сдают его – в Портленд. До отлета еще три часа, пусть они посидят пока, он вернется. Надо друзьям позвонить, поменять билеты.

Найти автомат становится все сложнее: теперь у многих тут, включая приличных с виду людей, сотовые телефоны. У нас они только у торгашей, у Губера есть такой... Всё, друзьям позвонил, расстроил их, в Нью-Йорк они, разумеется, не приедут. Когда теперь? – Как всегда, через месяц. В следующий раз – уже точно.

А билет поменять надо так, чтоб ночевать в самолете. Утром он походит по Нью-Йорку, посидит в Центральном парке, в «Метрополитен», если силы будут, зайдет, купит своим подарки. Про «Метрополитен» он по опыту знает, что не зайдет.

Билеты меняют посменно два человека – белый и негр – ребята-врачи прозвали их Белинским и Чернышевским. С Чернышевским не сладить – тупой, но сегодня – ура! – Белинский. Быстро и без доплаты: обратный рейс через четверть часа после прибытия в Портленд. За опоздание можно не волноваться: туда и сюда – одним самолетом. Хоть тут повезло. И еще: Белинский может сделать билет в первый класс, в одну сторону, в счет его миль. Хочет он этого? – Да.

* * *

Самолет до Портленда почти совершенно пуст. А в первом классе он и вовсе – единственный пассажир. Стюардесса мужского пола, стюард, можно, наверное, так выразиться, – Анатолий подсказывает: бортпроводник – приветствует их у входа. Красавец-мужчина – в ухе серьга – как там? – left is right? – действует тут это правило? – и пахнет изумительно одеколоном. Ароматный стюард! Конечно, какой там бортпроводник!

– Знаете что, – предлагает стюард, – давайте посадим леди и мужа ее рядышком с вами. Замечательная идея.

– Видите как? – ему хочется, чтобы Анатолию в Америке нравилось.

Стюард помогает старушке усесться, помогает скорей символически, двумя пальчиками, но все же. Хвалит ее косынку: красивый цвет. И то сказать, если б у нас безногая старушка решила полететь в самолете, то ее, вероятно, и на борт не пустили бы: зачем ей летать? Во всяком случае, она бы до самолета не добралась. А первым классом у нас вообще летают одни жлобы.

– Now can I harass you today, sir? – а стюард-то еще и с юмором.

Этого, кажется, даже Анатолий не понял. Тема харасмента – домогательств – в Америке очень чувствительная, все у них так – кампаниями. Вот и переделал стюард «how can I help you?» – чем могу вам помочь?..

– Понятно, понятно. Лучше перевести: «чем могу вам служить?» – мягко поправляет его Анатолий.

Тоже верно.

Удивительно, как такие мелочи поднимают настроение. Итак, что будем пить? Он вопросительно глядит на Анатолия – тот его не осудит? – все-таки доктор при исполнении – и заказывает: «Кампари» со льдом для себя и для Анатолия, апельсиновый сок – для его жены.

– Первый раз пьянствую в самолете, – говорит Анатолий. – Мы с вами теперь – небесные собутыльники.

Чуть-чуть вермута, пьянством это, конечно, не назовешь.

За окном – полная уже темнота, спереди за занавеской что-то жарится и вкусно пахнет, инсулин сделали, таблетки все дали, в руках стаканы – за новую жизнь! – и тут случается неприятность. Вторая за сегодняшний день после промашки с Портлендом, псих-пограничник не в счет.

Он заказывает еду – на всю компанию – себе, Анатолию, старушке – и щеголяет названиями блюд, переводит с английского и обратно – и вдруг их милейший стюард заявляет, что поскольку билет в первый класс имеется лишь у доктора, то господам, которых он сопровождает, полагается только закусочка – snack. Как говорится, nothing personal – ничего личного, таковы regulations, правила.

Именно, ничего личного. Он требует себе тройную порцию еды, дополнительных вилок, ножей, подходит еще стюардесса, морщит лоб, трясет головой, что же они, не понимают?

– Оставьте их, они правы, – просит Анатолий. Тоже мне – Грушницкий! – Оставьте. После нашего бардака, если что-то делается по правилам...

Нет уж, он им покажет mother of Kuzma!

Но, как всегда в таких случаях, ни личность Кузьмы, ни кто его мать, американцам узнать не удастся. Выкрикивая свои резкости, он в какой-то момент нелепо оговаривается, он и сам не понимает, где именно, но, конечно, безграмотная ругань, да еще с акцентом, смешна. Стюард – сука! – широко улыбается, стюардесса отворачивается, от смеха подергивает плечами. Остается махнуть рукой.

Скандал разрешается – никому уже не хочется есть, но что-то им все же дают, и они едят – и часа полтора спустя он встает по нужде и через занавесочку, отделяющую первый класс от обычного, слышит, как жалуется стюард: почему они так пахнут, русские? Какой-то специфический запах.

Ты бы попробовал – из Йошкар-Олы в Москву, потом Шереметьево, семнадцать часов лететь... Нашел дезодорант – в первом классе все есть, – опрыскался. Унизительно. Ладно, плевать.

* * *

Вот и Портленд. Командир корабля от лица экипажа благодарит вас... Баптисты уходят вперед. Он, старушка и Анатолий – последние в самолете, сейчас приедет каталка. Старушка – не такая уж и старушка, шестьдесят пять лет – просит мужа о чем-то тихо. Причесать ее. Он забирает у них все, что есть, выходит наружу, в холл. Вот он, их сын, один. Достойный, по видимому, человек. Уставший, тут много работают, очень много.

Встреча сына с родителями. Мать слепа и без ног – видел ее он такой? Объяты с отцом – лучше отвернуться, не слушать и не подглядывать. Тут не принято жить с родителями. А если бы инженеру и хотелось, жена б не дала, старики должны жить отдельно. Поместят их в хороший дом, язык не повернется назвать его богадельней. «Нам и самим так удобней», – говорят старики. Сползание со ступеньки на ступеньку, в Америке все продумано. Его подопечные, впрочем, начнут уже с самого низа.

– Это наш доктор, – говорит Анатолий сыну.

– Очень приятно, – рукопожатие, усталый рассеянный взгляд.

Все, прощайте, не до него им теперь, да и ему через пятнадцать минут возвращаться. И тут вдруг – забыли чего? – баптисты:

– Доктор, пойдемте, пойдем!

Двое юношей увлекают его за собой – туда, туда! – по эскалатору вниз. Что случилось? Он прибегает в зал выдачи багажа и ищет глазами лежащее тело – ничего, все стоят.

Багаж у них потерялся, вот. Братцы, – они ведь все «братцы» – стоило ли его звать? Некому заполнить квитанции? Вас же встречают.

Встречающих не отличить от вновь прибывших: те же, не омраченные ничем лица. Никто не знает английского? Не могут адрес свой написать? А говорят еще: страна забвения родины. Нет, даже букв не знают. Давно в Америке? – Четыре года.

– Американцы, – объясняет один из встречающих, – такие добрые! Они с нами як с глухонемыми.

Багажа у баптистов – тридцать шесть мест, по два места каждому полагается.

* * *

Пока он возился с бумажками, самолет его улетел. Следующий – ранним утром, через шесть с половиной часов, он опять без труда меняет билет, он и должен был утром лететь. Теперь куда – в гостиницу? Пока доедет, пока уляжется – пора будет подниматься. Да и стоит гостиница долларов пятьдесят. Как-нибудь тут. Душ принять, конечно, хотелось бы – ничего, перебежусь, переодеться-то не во что.

Другой конец Земли – само по себе это давно перестало приносить удовольствие. Он бывает в городах с красивыми названиями – Альбукерке, например, или Индианаполис, и что? Везде – в Нью-Йорке ли, в Альбукерке, тут ли – одно и то же – красные полы, красно-белые стены, идеальная ровность линий, тонов, ничто не радует глаз слишком, и ничто его не оскорбляет. И всюду, как часть оформления, негромко – Моцарт, симфонии, фортепианные концерты, не из самых известных, в основном вторые, медленные, части. Кто играет? Орегон-симфонии, Портленд-филармоник, какая разница? Не эстрада, не блатные песенки. А как-нибудь так устроиться, чтоб – совсем тишина? Разборчивый пассажир – пожалуйста, никто не удивлен – можно посидеть в комнате для медитаций. Посидеть, полежать. Медитаций? Именно так, размышлений, у нас вон в аэропортах часовни пооткрывали – но поразмышлять и неверующему полезно, опять ничьи чувства не оскорблены.

– А курить можно в вашей комнате медитаций? – вдруг спрашивает он, сам себе удивляясь.

– Курить? – Он с ума сошел? – Курить нельзя ни в одном аэропорту Америки.

Вопрос про «курить» отрезает всякую возможность неформального разговора, показывает им, что он человек опасный. Ладно, ладно, он будет курить в отведенных местах, на улице.

Аэропорт совершенно пуст. Можно хоть сумку свою тут оставить? – Нет, ручную кладь надо брать с собой. – Что, каждый раз? Даже не пробовать тут улыбаться, all jokes will be taken seriously, вологодский конвой шутить не любит.

Порядок есть порядок, он понимает. У них и медицина от этого – изумительная, в сто раз лучше нашей, и все же – глупо. Укладывать вещи на черную ленту помогает ему толстый седой негр, без неприязни, работа такая. Кажется, негр ему даже сочувствует. Наверное, сам потому что курит.

– Опоздал, теперь до утра, – объясняет он негру, возвращаясь с улицы второй уже или третий раз.

– Just one of those days, man... – повторяет тот.

По-русски сказали б: «Бывает». У негра глубокий бас.

Он доходит до места, откуда видно шоссе – там едут редкие машины, не быстро и не медленно, у верхней границы дозволенного, – и вспоминает, как перемещался по окрестностям Бостона с друзьями, а иногда и один. И в каждой встречаемой им машине, он знал, сидит человек, ценящий свою жизнь не меньше, чем он – свою, – и жизнь, и сохранность автомобиля,

и оттого, как правило, осторожный, предупредительный, не презиравший себя за готовность уступить. Стоит ли прожить свою жизнь или хотя бы часть ее – почему-то хочется сказать: последнюю – тут? Тут правильно выбрасывают мусор и правильно ставят машины, научиться этому можно, проще, чем английскому языку. Не в одной безопасности дело. Он представляет себя пожилым, почему-то совсем одиноким – может, оттого что в данную минуту одинок – в маленьком местечке на океане, у соседей его красные грубые лица, но сами они не грубы, они говорят про него: здесь живет доктор такой-то, им приятно, что их сосед – врач. Они устояли в жизни, и он устоял, а сколько раз могли сбиться!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.